

Генри Лайон Олди

Баллада двойников



Часть сборника
Песни Петера Сьядека
(сборник)



Генри Лайон Олди
Баллада двойников
Серия «Хёнингский цикл»
Серия «Песни Петера
Сьядека», книга 2

Текст предоставлен автором
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165752
Песни Петера Сьядека: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-20800-5

Аннотация

«— Ой, пан шпильман таки не понимает своего счастья!

— Простите, реб Элия...

— Что простите? Что простите, я вас спрашиваю? — тощий корчмарь, похожий на ржавую мартовскую тарань, всплеснул руками. Глазки его вылезли из орбит, рот раскрылся, еще более усиливая сходство с рыбой. — Чего мне вам прощать, пан шпильман?! Вы что, устроили *геволт* с погромом? Украли заветный талер моей бабушки Песи, чтоб ей жить до ста двадцати лет?! Ну, хотя бы до понеделника!..»

Генри Лайон Олди

Баллада двойников

«Неисповедимость путей Господних дарует нам великое благо – благо сомнения. Ибо где нет сомнения, там нет и веры; где нет сомнения, там нет знания; где нет сомнения, там нет милосердия. Но все же: как славно было бы не испытывать этого мучительного чувства раздвоенности! Стоять легче, чем бежать, быть целым проще, нежели разбитым на осколки. Искренне надеюсь, что в размышлениях скромного монаха нет ничего еретического – и все-таки сомневаюсь, сомневаюсь...»

Из записей отца Ремедия, аббата монастыря бенедиктинцев близ Хольне

Каково в аду?

Посмотреть

Иду.

Ниру Бобовай

– Ой, пан шпильман таки не разумеет своего счастья!

– Простите, реб Элия...

– Что простите? Что простите, я вас спрашиваю? – тощий корчмарь, похожий на ржавую мартовскую тарань, всплеснул руками. Глазки его вылезли из орбит, рот раскрылся, еще более усиливая сходство с рыбой. – Чего мне вам прощать, пан шпильман?! Вы что, устроили *геволт* с погромом? Укра-

ли заветный талер моей бабушки Песи, чтоб ей жить до ста двадцати лет?! Ну, хотя бы до понедельника!

– Жить до понедельника? Вашей досточтимой бабушке?!

– Вам до понедельника! Вам, пан шпильман! Ой, он такой глупый, что совсем дурак...

– Мне надо идти, реб Элия.

Петер Сьядек иногда сам удивлялся шилу в собственной, горячо любимой заднице. Казалось бы, вот оно, счастье! Кормят, поят... Просят играть! Умоляют! Чуть ли не в ножки падают! Нет, сволочное шило мешало усидеть на лавке. Надо идти, понимаешь, а куда идти, зачем идти – леший его маме надвое сказал!

Увы, бродяга знал: начни спорить с шилом – только хуже будет.

– Ему надо! Ой, ему надо! Старый Элия говорит: *швайк*, горлопан! Сиди в тепле, грей *тухес*! Кушай щуку с бураком! Редьку с куриными шкварками! Спи на перине! Ярмарки кругом, мужики пьяные, мужики довольные – дай *ашикерам* толстый кусок счастья! Станут плясать, станут слушать, грошей кинут! С дударем я уже сговорился...

Левой рукой корчмарь задел связку ядреных, густо-золотых луковиц, висевших у двери. Связка с грохотом рухнула на пол. Две головки оторвались, заскакали в углы.

– Не обижайтесь, реб Элия...

На четверть авраамит по матери, Петер Сьядек достаточно знал местечковый жаргон, чтоб не нуждаться в услугах

переводчика. И хорошо понимал дударя, местного пропойцу Матиуша Гюлля, с радостью согласившегося дудеть в корчме хоть до конца света, не то что до конца ярмарок. Вчера, когда толпа исплясала все ноги, не шибко вслушиваясь в игру музыкантов, когда баллады кончились, и танцы кончились, и лэ, и рондо, и овензек, и потешные куплеты, и смех, и слезы, и хмельной гогот, и визг девиц в платьях с брыжжами у шеи, в парчовых фартучках с розами и васильками, в нюрнбергских лентах, и лишь пальцы обжигались о струны, а дудка, припав к вывороченным губам пропойцы, высасывала человеческое дыхание — о, вчера было таким ошеломительно прекрасным, что даже сытный завтрак и обильный заработок были бессильны сделать нынешнее утро лучше канувшей в небытие ночи! Но шило, чтоб ему пусто! Шило...

Иногда Петеру казалось: обмани он треклятое шило, остановись, задержись на одном месте хотя бы месяц-другой — и бродяга станет домоседом. Перестанет искать вчера и завтра. Увязнет, как в трясине, в неколебимом сегодня.

Изменится — что означает «изменит себя».

Или «изменит себе»?!

Зимой, околачиваясь в хенингском порту, слышал от моряков: есть такие рыбы, которые тонут. Хвост, жабры, чешуя, а вот поди ж ты! Если не плавают — идут на дно. Камнем. Врут моряки, должно быть. Свою судьбу тайком оправдывают. Вон, Элия тоже обличьем вроде рыбы. А ни шила ему, ни дна.

Загребает плавниками: корчма да корчма.

Аж завидки берут.

– Ой, пан шпильман!.. все у него *бекицер*, все пополам...

Обиженно ворча, корчмарь пошел прочь, часто оглядываясь. Видимо, не оставлял надежды уговорить «пана шпильмана» остаться. Петер и сам был бы рад. Последние два года выпали тяжкими, как град на ниву ячменя. Дорога на Вроцлав, будь она неладна, житье впроголодь, столичные скареды, жалевшие грошика для улады ушей, дурная попытка проселками добраться до Раховца, потом до Орзмунда, ссора с подвыпившими коробейниками, расторговавшимися без барыша и оттого злыми, как черти – спасибо доброй бабе из Рыцерки, дала отлежаться в хате! – все это утомило донельзя.

Может, согласиться?

Пиво, щука с бураком... Знай, бренчи себе плясовые! А для многолюдной семьи реба Элии в шаббат: "Шум веселый нам ласкает ухо! – в гости к нам собралась вся *мишпуха*..." Или лучше: «А когда наш дядя Эля ощутил в душе веселье...»

– Вы намерены идти в Хольне, сын мой?

Вздвогнув, Петер обернулся. Монах-бенедиктинец, оседлав табурет у лестницы, ведущей на второй этаж, смотрел на бродягу без особого интереса. Скучно смотрел, тускло. Правда, оставалось неясным: зачем тогда вообще задал вопрос? Монахов вчера было двое: приехали на мулах, попро-

сились на ночлег. Пьяная толпа не смутила святых отцов – съели по миске пшенки, слегка заправленной смальцем, просушили рясы у огонька, да и отправились наверх: спать. Старший из них, седенький аббатик, еще одобрительно кивнул, когда Петер вослед завел жалостную «Господь – моя опора!» Зато второй монах, грузный, похожий на медведя мужчина лет пятидесяти, с самого начала привлек внимание певца. Малоподвижным лицом, скованными, осторожными движениями – словно заново привыкал к телу. Так бывает после тяжелой болезни. Над пшенкой горбился, долго нюхал, прикрыв глаза. Каждую ложку отправлял в рот с опаской, тщательно разжевывая, и казалось, что он ожидает от каши чего-то своего, странного, получая взамен неожиданную сладость. Дважды, слушая потешные куплеты, бенедиктинец улыбался – краешком губ, еле-еле, но не из-за сдержанности, приличествующей духовному пастырю, а из-за тайного подозрения: вдруг улыбка не сложится?

Монах напоминал деревянного идола, голема, ожившего по воле Божьей и теперь все испытывавшего заново. Улыбку, походку, кашу...

– Д-да... Наверное, в Хольне.

– Мы с отцом Ремедием тоже направляемся в Хольне. Скажите, сын мой...

Обращение «сын мой» давалось монаху с трудом. Возможно, не так давно отринул светскую жизнь, ушел от мира в обитель – вот и не привык.

– Я слушаю вас, святой отец.

Петер ожидал чего угодно. Кроме тихой просьбы:

– Вы вчера пели «Балладу двойников». Я никогда раньше не слышал ее. Это ваше сочинение?

– Да, святой отец. Молю о снисхождении, если моя скромная баллада чем-то оскорбила...

Последнюю фразу Петер подхватил, как дурную болезнь, у известного менестреля Томаса Любезника, однажды встретив последнего в Дамме. Только Любезник произносил «Молю о снисхождении...» нагло, подбоченясь и крутя завитой ус, а у Петера Съядека выходило наоборот: просительным, чуть ли не заискивающим. Вот и повторял к месту и не к месту – хотел научиться, как Томас.

Пока не получалось.

– Ничуть. Дело в другом. Согласитесь ли вы исполнить ее еще раз? Для меня?

– Сейчас?

– Да. У меня нечем заплатить вам, но...

– Что вы, святой отец! Почту великой честью...

Беря в руки лютню, Петер Съядек терзался догадками: чем могла сугубо светская «Баллада двойников» заинтересовать и даже взволновать отрешенного бенедиктинца? В пустой корчме струны звучали гулко, с удивительной силой, и сорванное вчера горло служило легко и послушно, как верный пес. К первому припеву удалось даже нащупать более точные интонации, ранее ускользавшие от внимания. Да,

именно так, с нажимом в начале:

– ...левая рука – правую,
Ложь у двойника – правдою,
Исключение – правилом,
Лакомство – отравой.
Огорчаю?
Нет! —
радую...

Монах слушал, весь подавшись вперед, грозя опрокинуть шаткий табурет. Выбритая на макушке тонзура налилась кровью, будто святой отец держал на плечах мешок с булыжниками. Возле правого глаза билась жилка – синяя, толстая. В сочетании с мертвым, напрягшимся лицом это выглядело страшно. Но остановиться Петер уже не мог.

– ...правая рука – левою,
Шлюха станет королевою.
Трясогузка – лебедью,
Бедность – нивой хлебною.
Отступаю?
Нет! —
следую...

Когда отзвучал заключительный аккорд, монах долго молчал.

– Благодарю вас, – наконец сказал он, глядя в скобленный,

яично-желтый пол. — Вы дали больше, чем я просил. Нищий странник, оказывается, способен видеть глубже и яснее, чем многие его коллеги по цеху, раздобревшие на лестии и низкопоклонстве. Спасибо.

Петер моргнул, не зная, что ответить. Вежливость, можно сказать, изысканность речи бенедиктинца смущала, приводя в недоумение.

— Как я уже говорил, мне нечем заплатить. Я бедный инок. Даже мул, на котором я еду, принадлежит обители. Но если вы, в обмен на ваше искусство, согласитесь выслушать от меня одну забавную историю...

Снова полуулыбка: чудная, болезненная.

Ущербная.

Спина монаха выпрямилась, в осанке неожиданно мелькнуло что-то солдатское.

— Я кажусь вам безумцем, сын мой?

— Нет... Ни капельки, святой отец!

— Вам следует научиться лгать, сын мой. Впрочем, неважно.

Прежде, чем заговорить дальше, он опять долго молчал. Дольше, чем в первый раз.

* * *

Монах смотрел на стены города. Снизу вверх. Как раньше, шесть лет назад. Он не любил об этом вспоминать, но память

– пес-упрямец, плохо обученный беспрекословному подчинению. Серая громада в три человеческих роста. Камни грубо обтесаны. В щелях топорщатся бурые космы лишайника. За годы ничего не изменилось. Помнится, в прошлый раз ему недолго довелось любоваться стенами Хольне снаружи.

Сегодня монах тоже не собирался задерживаться.

Стражники в воротах окинули его равнодушным взглядом: пошлины с духовного сословия брать запрещено, а на переодетого вора монах походил меньше всего. Лишь самый молоденький, в нелепом и явно великоватом ему шлеме-шишаке, внезапно сорвался с места. Гремя ржавой жестью лат «на вырост», бухнулся на колени, уронив рядом алебарду:

– Благословите, отче!

Губы монаха тронула едва заметная улыбка. Рука поднялась в крестном знамении.

– Благословляю тебя, сын мой.

Конечно, следовало бы произнести это по-латыни, но в последнее время монах сердцем чувствовал, когда уместно высокое наречие, а когда лучше обратиться к человеку на его родном языке. Главное, чтобы слова твои нашли отклик в чужой душе. А на каком языке они произнесены – так ли это важно, как полагают многие ученые отцы церкви?

Кроме того, он плохо знал латынь.

– Встань, сын мой. И оружие подбери: первый солдатский грех – снаряженье ронять. Ишь, ржавчина! Будь я твоим начальником, накушался бы ты плетей...

Город монах знал плохо. И потому, обождав, пока юнец, в смущении дергая себя за жидкую бороденку, поднимется с колен, осведомился:

— Кстати, не подскажешь ли: где тут у вас городская тюрьма?

Краснолицый усач-капитан, щурясь, разглядывал гостя. Словно из арбалета целился. Наверняка внешность капитана многих вводила в заблуждение: ни дать ни взять, сытый котяра, лентяй, отъевшийся на хозяйской сметане. Морда поперек себя шире, лоснится вся, мало что не треснет; усы щеткой, глазки масляные... Лишь цепкий прищур выдавал в во-яке ту еще хватку. Не даром казенные харчи наворачивает да жалованье от магистрата получает, ох, не даром!

У монаха на таких усачей глаз был наметанный.

— Его честь сейчас в пыточной, на допросе. Обожди здесь, святой отец, отдохни с дороги. Может, винца?

Монах отрицательно покачал головой. Откуда-то из глубины здания донесся приглушенный вопль. Капитан, отвернувший было голову, с любопытством покосился на бенедиктинца: не побледнеет ли святой отец, не сморщится ли, как от зубной боли? Иной, бывало, в обморок падал...

Однако лицо монаха осталось бесстрастным.

— А скажи-ка мне, отче, что у тебя за дело к господину главному судье?

Капитану было скучно. Капитану хотелось поговорить. А

тут новый человек, и не проситель какой-нибудь...

Монах молча смотрел на собеседника.

Поначалу усач спокойно выдерживал этот взгляд, но мало-помалу странное желание начало пробуждаться в вояке. Сперва он даже не понял, но вскоре ощутил со всей ясностью: хочется выкатить грудь колесом и подобрать живот.

Еще хотелось начистить кирасу мелом.

– Меня направил в Хольне отец Ремедий, аббат монастыря Трех Святых. Нам принесли скорбную весть о том, что брат Амбросий, исполнявший обязанности духовника при городской тюрьме, скончался, и магистрат просит прислать ему замену.

– А-а, так вы, святой отец, наш новый Черный Духовник? – расплылся в ухмылке капитан.

Монах едва заметно поморщился. Прозвище казенных исповедников резануло слух. Впрочем, ничего не попишешь, придется терпеть. Снизу, сквозь толщу камня, вновь пробилась слабый вой, похожий на волчий, но теперь капитан не стал вглядываться в бенедиктинца.

– Можно сказать и так. Хотя это не самое лучшее название для должности, которую занимал покойный брат Амбросий.

Сказано было очень мягко, без малейшей злости или раздражения, однако усач смутился, затоптался на месте. Бормотнул скороговоркой:

– Хороший был человек отец Амбросий, царствие ему небесное. Видать, время его пришло. Дряхлый он был – нам

бы до таких лет дожить... Что ж, давайте знакомиться. Нам теперь часто видеться придется. Лайош Зиммель, капитан тюремной стражи.

– Отец Игнатий, скромный инок братства Святого Бенедикта. Вы не знаете, скоро ли освободится судья Лангбард?

Капитан Зиммель прислушался.

– Да, вроде, закончили. Сейчас и поднимется.

Словно в подтверждение, где-то рядом гроыхнула дверь, и вскоре в комнату вошел дородный мужчина лет сорока. Камзол темно-синего атласа, штаны из отлично выделанной тонкой кожи. Грудь украшала серебряная цепь с образком Св. Лаврентия – отличительный знак судьи в вольном городе Хольне. На чуть оплывших щеках вошедшего медленно гас пунцовый румянец, свойственный скорее больным чахоткой, нежели полнокровным здоровякам. Глаза из-под густых бровей остро блеснули при виде монаха. За мужчиной в комнату проник легкий запах пота и гари, исходивший явно не от самого судьи.

– Уже завершили, ваша честь? – поспешил шагнуть навстречу капитан Зиммель. – А вас тут святой отец дожидается. Новый Черный... новый казенный духовник. Из обители прислали.

– Рад, искренне рад вам, отец...

– Игнатий.

– ...отец Игнатий. Жодем Лангбард, глава судейской коллегии, – судья с достоинством поклонился. – Нас еще вчера

известили о вашем скором прибытии. Дом готов, кухарка и прислуга ждут. Я выделю вам провожатого, а к восьми часам вечера приглашаю отужинать у меня. Дела обождут до завтра, сегодня же я хотел бы видеть вас своим гостем. Мой дом на Ратушной площади, любой в городе вам его покажет. Сейчас прошу извинить, мне надо переодеться. Скоро начнется заседание магистрата. Но к ужину я вернусь домой.

— Благодарю, ваша честь, — монах поклонился в ответ, сложив руки на груди. — С удовольствием приду. Поста сейчас нет, так что...

И бенедиктинец неожиданно подмигнул судье. С лукавством, как старому приятелю. Он сам не знал, что на него нашло: просто понравился этот человек.

С первого взгляда.

Петляя по извилистым улочкам Хольне вслед за писцом-провожатым, отец Игнатий перебирал в памяти все, что слышал от аббата о судье Лангбарде. Одновременно монах не забывал оглядываться по сторонам, запоминая дорогу, — привычка, выработавшаяся с давних пор, когда он жил в миру.

Жодем Лангбард, глава судейской коллегии, слыл человеком суровым и неподкупным. Быть может, даже излишне суровым; однако, по мнению бенедиктинца, лишняя строгость еще ни одному судье не вредила. Скорее наоборот. Покойный духовник, отец Амбросий, по словам аббата, также от-

зывался о судьбе со всяческим уважением. Однако все это никоим образом не объясняло мгновенной симпатии, которой отец Игнатий проникся к Лангбарду. Ему определенно был по душе этот человек: правильная, слегка вычурная речь, манера держаться, спокойная уверенность в себе – и легкий налет одержимости, почудившийся монаху во взгляде главного судьи.

«А ведь мы изрядно похожи! Оба крепкие, чуть грузноватые, одинакового роста. Обоим слегка за сорок, и дело у нас теперь будет, считай, общее...»

– Вот мы и пришли, святой отец. Сюда, пожалуйста. Это казенное здание, раньше здесь жил отец Амбросий. Извините, мне пора обратно...

Писец мигом исчез за ближайшим углом, и монах остался один у входа в маленький опрятный домик. Двускатная, крытая блестящей черепицей, крыша. Узкие застекленные окна по обе стороны высокой двери, к которой вели три ступеньки из вытертого до блеска камня. В конце переулка за домами виднелась городская стена – жилище тюремному духовнику магистрат выделил на окраине. Впрочем, отец Игнатий отнюдь не стремился к избытку шума и общения.

Дверь открылась с назойливым скрипом, и монах поморщился: еще с той, прошлой жизни не любил говорливых дверей. Надо будет добыть масла, смазать петли.

Внутри царил густой, вкусный запах готовящейся стряпни. Тянуло из кухни, расположенной справа от входа. Одна-

ко туда монах решил заглянуть в последнюю очередь. Так, что у нас здесь? Две смежные комнаты, крохотные и аккуратные; кровать из дерева, стол, пара табуретов, полка с книгами. На столе – бронзовая чернильница, подставка с очищенными перьями. Подсвечник. В углу – распятие с горящей под ним лампадой. Раздолье по сравнению с нищетой монастырской кельи.

Что еще? Кладовка. Каморка для прислуги.

Кухня.

– Здоровы будьте, святой отец! А мы уж вас ждали! Сейчас, сейчас, я на стол подам... Вам у нас понравится, клянусь муками Господними, непременно понравится! Вон, отец Амбросий, царствие ему небесное, чистому сердечку, сколько лет прожил – ни разу не жаловался! Клара с Гертрудой свою службу знают: стряпня, постирушки, уборка... Клара – это я, святой отец. Я и есть. А Гертруда – дочка моя, звездочка...

– Отец Игнатий, – успел представиться монах, сбитый с толку этим словоизвержением, и его вновь накрыл поток речей кухарки Клары. Объявившаяся вскоре Гертруда оказалась тихой светловолосой девицей в сереньком платье. Дурнушка, похожая больше всего на испуганную мышку, она являла собой полную противоположность родной мамаше, – завидные тела Клары едва помещались в тесноте кухоньки. Зато стряпала Клара отменно: действительно, грех жаловаться. Вскоре отец Игнатий с трудом отказался от добавки

бобов с подливой, жареным луком и шкварками. Предстоял ужин у судьи, а после Кларинового изобилия он бы наверняка обидел Жодема Лангбарда полным отсутствием аппетита.

Наконец мамаша с дочкой ушли, дав монаху вздохнуть спокойно: чтобы долго выносить болтовню Клары, надо быть святым. Интересно, как ее муж терпит? Время до визита к судье еще оставалось. Можно было даже прилечь вздремнуть. Однако вместо отдыха отец Игнатий опустился на колени перед распятием. Слова молитвы пришли сразу. Он молился не по канонам, не заученно-уставными фразами, погребенными в книжных переплетах, – нет, его молитва шла от сердца. Искренне. Оттаивала душа, бежало прочь все наносное и лишнее – раздражение, дразги, усталость, мелкие мирские заботы, сменяясь покоем и тихим светом радости.

Монах говорил с Небом.

И Небо – отвечало.

...откуда взялся этот человек? Словно вырос из булыжника мостовой, соткался из вечерних сумерек. Отец Игнатий остановился, как вкопанный, с острой тревогой ощутив: прошлая жизнь очнулась, заполнив тело целиком. Душа была спокойна, сердце лишь чуть-чуть ускорило бег, чтобы сразу вернуться к обычному ритму, а тело уже готово действовать: шаг в сторону, нырок под возможный удар палкой в голову, а если снизу ножом, то перехватить запястье и...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.